

М.-Э. Дюкро

КОНСТРУИРОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ОПЫТА И ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ¹ ТРАДИЦИЯ: ЧЕШСКИЙ СЛУЧАЙ

1. Предварительные размышления

Категория «национальной идентичности» не подразумевается сама собой. Постичь ее тем сложнее, поскольку она является составляющей частью «общих событий», воспоминание о которых рождает идею консенсуса. Именно она может быть понята в качестве факта, непосредственно воспринимаемого как будто квинтэссенция национального характера, между тем как ни в одной европейской нации, очевидно, не существует понятия идентичности, создающей абсолютное согласие.

«Национальная идентичность» всегда скрывает в себе дискурсивные конструкции. Историческое сознание и исторические традиции — главный ее ингредиент, но не единственный. На самом деле многочисленные элементы могут служить в качестве характерных национальных черт: главным образом язык, но также и практики повседневной жизни, музыка, фольклор, отношение к природе, кухня и многое другое. Эти предполагаемые стереотипы «переводят» сущность нации, мобилизуя внутренние чувства и волнения индивидов; они действуют как напоминание об общности судеб и являются или являлись мощными векторами интеграции. Национальная идентичность как сумма этих характеристик является зеркалом, в котором может или должна узнавать себя нация. Она — то, что отделяет нацию от других, то, что нация находит лишь в себе самой. Поскольку она исключает из нации то, чему предназначено быть «иностранным», внешним для нее, то она легко может стать орудием в руках националистической пропаганды и питать политические авантюры. Претензии на более или менее эксклюзивное присвоение исторической памяти постоянны. Такое использование идентичности не

является исключительно достоянием тоталитарных идеологий, приведших их проявления к последней черте. Ссылки на специфическую идентичность представляют собой часть арсенала всех национальных групп и всех политических партий. Государства-преемники монархии Габсбургов, возникшие после Первой мировой войны, использовали то же самое. Легитимировать свершившийся факт, оправдать политическую линию или действия, осуществляющиеся от имени «реализации» или «защиты» национальной судьбы, — это тогда, как и всегда, создавало происходящее символически, посредством черт, представленных как перманентные и переданные через историю нации в настоящее время. Во всех этих странах после 1945 г. партии коммунистов, обновляя в своих программах схемы идентификации, распространили их в обществе, модифицируя их в соответствии со своей выгодой, постоянно прибегая к идеологическим манипуляциям памятью и историей.

На обратной стороне этого подхода, антиподом ко всякого рода упрощенным программным определениям, находится «научная» постановка вопроса о национальной идентичности в рамках исторического исследования, — такого, который искусно проиллюстрирован в разных жанрах Фернаном Броделем во Франции и Фридрихом Хеером в Австрии². В обоих этих случаях идентичность, всегда проблематичная и проблематизированная, не может составлять объект схематической модели. На протяжении нескольких сотен страниц она видится как постоянно близкий, но не достижимый результат, инвентаризация, тянущаяся через прошлое. Ее элементы отобраны и тщательно связаны между собой авторами, предлагающими нам сложную и открытую попытку интерпретации истории. Однако, поскольку любой большой текст об идентичности исследует интеллигибельные следы в истории — то, что выковало настоящее народа, то он сам может, в свою очередь, стать источником мифологизаций. С другой стороны, критерий научности сам по себе манипулируем: можно искать и изучать идентичность, но нельзя ее доказать.

Многочисленные работы ученых, историков, философов, социологов, антропологов, исследовавшие идентичность с конца XIX в., остаются в лучшем случае интерпретациями. Кроме того, когда они предлагают методы анализа, основанные на различиях, позволяющих классифицировать национальные типы (например, в случае «исторических наций и неисторических наций», в случае «народов-завоевателей» и «народов-слуг»), в них всегда присутствуют изначальные умыслы иерархизации, не говоря уже о частых расистских и всегда националистских коннотациях. Таким образом видится сумма трудностей, появляющихся тогда, затрагивается вопрос о национальных идентичностях.

Чем бы они ни были на самом деле, националистической или идеологической пропагандой, программным утверждением или собранием более или менее деконструктивных смыслов, исследования «национальной идентичности» всегда являются точкой отправления концепций, которые делают из себя политического, интеллектуального, воинствующего или университетского глашатая истории и миссии своей собственной нации. Между тем эти концепции не являются чем-то незыблемым: поскольку они связаны тесно с потребностями политической деятельности или проблемами конструкций, помещенных под заголовок «научности»; они могут меняться по ходу времени. Во всех европейских обществах XIX—XX вв. циркулируют разные модели национальной идентичности. Единство взглядов никогда не бывает поэтому всеобщим; внутри всякого общества, определяющего себя «национально», существует ядро референций большинства, которыми оперирует весь дискурс идентичности. Эти темы являются таким материалом, из которого складываются большие модели национальной идентичности во всех европейских обществах. При этом все задействуют историю, память и миф. Таким образом, надо пытаться понять, как строится и как эволюционирует подобный арсенал мотивов самоопределения.

В Центральной и Восточной Европе, где нации поначалу определяются вокруг понятий языка и народности, идентификационные модели укореняются в историзме. Поскольку историзм постулирует преемственность между прошлым и будущим, он позволяет «доказать» права каждой национальности на политическое существование и культурную автономию. Эти модели отличаются в каждой национальной группе. Кроме того, внутри каждой из них могут сосуществовать разные варианты. Их специфичность не мешает наличию в них общих одинаковых элементов: например, идея смертельной опасности, которой подвергалась нация на протяжении всей своей истории, против которой она боролась единым фронтом или должна ее еще преодолеть; один или несколько разрывов истории, положивших начало опасности или даже прервавших последовательность ее государственного существования; борьба против иностранного засилья или династии, обвиненной в подчинении или уничтожении ранее существовавшего национального государства; и наконец, мотив национального возрождения. Все это воплощается в некоем, четко определенном, основополагающем моменте — достаточно близком к самому времени кристаллизации модели (например, конец XVIII в. для венгров и чехов). В то же время этот момент представляет важные характеристики, чтобы считаться точкой отсчета для процесса, в котором коллективные успехи «нации» будут видеться как продолжающие прошлое.

Кризисы, моменты политических разрывов и крупные социальные потрясения всегда подвергают испытанию модели и чувства национальной идентичности. Конец коммунистических режимов не был исключением. Он реактуализировал в различных формах дискуссии о нациях, их существовании и наличии/отсутствии их специфических интересов в большинстве стран переходного периода в Центральной и Восточной Европе. Поначалу вновь появились «национальное» и интерпретативные схемы идентичности, выработанные в XIX в. и ставшие известными перед Второй мировой войной. Впрочем, они никогда и не исчезали. В частности, диссиденты часто размышляли над проблемами истории и идентичности, противопоставляя версиям официальных фальсификаторов требование правды и морали. Но крушение 1989 г. повлекло за собой гораздо большие основания для пересмотра традиционных объяснений настоящего и будущего. Десять лет спустя после начала процесса, часто называемого «переходом» к демократии, перспектива вступления в Европейский союз обязывает страны Центральной и

Восточной Европы вновь пересмотреть свои взгляды на самих себя в более широких, чем «нация», рамках. Эта перспектива также ведет к новым перепрочтениям своей истории и, возможно, в конечном итоге к новым ее использованиям, свободным от политики и задач «оправдывать» нацию и ее действия.

2. Предпосылки чешской национальной идентичности в Богемии: трансмутация элементов прошлого, воссозданного в терминах идентичности и составлении чешского национального мифа

В XIX в. идея «чешской специфической нации» черпает оправдание в реальной истории. Элементы этнической концепции нации можно найти уже в чешской хронике Далимила (1314), характеризуемой сильным антагонизмом по отношению к немцам, и еще больше — в текстах гуситского периода, в XV в. Эта эпоха важна с двойной точки зрения: для некоторых радикальных течений гуситов «чешская нация» была сообществом верующих, защищавших закон и Бога, и исключала католиков. И кроме того, эта форма политической концепции «чешской нации» воплощена ее аристократией, мелким дворянством, свободными городами, но не клиром. Идентификация в единственном языке «чешской нации», которая в XVII в. не была нацией эпохи модерна, имела своих проводников. Ее апология, развитая в 1672 г. Богуславом Балбиным, — самая известная, но не единственная. В это время

для него важно защитить нацию в ситуации угрозы всем ее правам, языку, культуре, разоблачая политику представителей королевства, особенно в том, что касалось засилья иностранцев на общественной службе и распространения немецкого языка. Несколько позднее, в 1700 г., мелкопоместный дворянин А. Фрозин из Пльзени, опечаленный несчастьями «чешской нации, оставленной всеми», предпринимает поездку по всей Богемии и собирает средства на публикацию книг на чешском языке.

Интеллектуалы, публицисты и политики имели, таким образом, в своем распоряжении, в документах прошлого, в хронике Козьмы Пражского, написанной в начале XII в., в последующих летописях, в трудах юристов XVI в., (например, К. В. Вшегрда и П. Странского), в работах историков-патриотов XVII в. иезуита Балбина или каноника Пешина — целый склад аргументов, ссылок и мотивов, которые они запустили в дело и реинтерпретировали. Кроме этого, они использовали достижения филологов и историографов Просвещения, Добнера, Корнова, Ройко, Добровского, Длабача и других, которые тщательно просеяли, начиная с XVIII в., традиции, завещанные древними хрониками, и создали новую историю Богемии. В начале XIX в. существовало живое восприятие древностей «нации», сведенной к своей истории, литературе, языку и, наконец, к своим институтам в так сказать их «последней инстанции» — государстве. Но, за исключением исторического сознания, и литература, и язык, и государственность носили проблематичный характер. Наконец, по причине всеобщей контрреформации, рекатолизации, проведенной Фердинандом II, подавляющее большинство населения немецких и чешских областей было католическим. В этих обстоятельствах положительному слиянию в историческом сознании XV и XVI вв., времени когда у чехов была другая вера, могло помешать их идентификация в католицизме. Напротив, гуситское движение и движения, которые от него произошли в XVI и XVII вв., должны были стать прогрессивными символическими маркерами чешской личности, независимо от реальной религиозной принадлежности населения. Идентификация с Гусом и Жижкой уже была достаточно эффективной, что и использовала Вена для разжигания патриотического пыла чехов во время наполеоновских войн. Подобное использование прошлого, кажущееся сегодня парадоксальным, должно рассматриваться в рамках того времени. Революция 1848 г. была продолжением первого большого апогея национального культа гуситов, которому еще предстоит воскреснуть в общественной жизни после 1861 г.

В исторической литературе нет истинного согласия о дате и последовательности событий, когда области богемской короны оказываются связан-

ными с монархией Габсбургов: 1526, 1620, 1627, 1749? Действительность для людей конца XVIII — первой половины XIX в. — это многонациональная империя, в которой, тем не менее, сохранялись традиционные структуры представлений о каждой «исторической» области. Чешский язык развивался преимущественно в XVII—XVIII вв., от своей народной версии до литературной, до попыток первых патриотов (*vlastenci*), — условно говоря до времени Иосифа II. Он представлен королевскими указами, песнями, несколькими книгами по истории или чтению, календарями, и главным образом религиозными изданиями: катехизисами, размышлениями, молитвами и т. д. Сверх того, эта последняя категория изданий носила исключительно католический характер начиная с 1620 г. до манифеста о веротерпимости 1781. Итак, в конце XVIII в. религиозная вражда перестала разделять элитные слои: «Будители» Богемии и Моравии, являясь часто членами религиозных общин, все-таки прежде всего — рационалистические умы, которые пишут на универсальном языке Центральной Европы того времени — немецком. Тем не менее манифест о веротерпимости снимает для них табу, стиравшее с 1620 г. прошлое гуситов и протестантов для большинства чехов. Католическая контрреформация, навязанная Фердинандом II и его преемниками, но осуществленная церковью, представлялась ими как время интеллектуального угнетения *par excellence*. Для кальвинистской и лютеранской церквей, восстановленных после 1781 г., она казалась наиболее невыносимой духовной тиранией: память о преследованиях и память о другой вере предков была очень сильна, и популярность Иосифа II — освободителя, процветала. Началось отождествление Гуса, средневекового реформатора, и современной свободы совести — одного из краеугольных камней чешской идентичности нового времени («модерна». — Прим. переводчика). Ф. М. Пельцл, первый профессор языка и чешской литературы в Пражском университете в 1791 г. (заметим, католик), оставляет в своих дневниках игру букв, делающую Иосифа II преемником Яна Гуса: «Johannes Hus I. Joser Hus II»...

Таким образом элементы, представляющие конститутивные темы национального «мифа», завещанные очевидцами и действующими лицами прошлого, уже присутствуют к тому моменту, когда поколение романтиков собирается посвятить себя служению чешской нации. На повестке дня стоит многое. Осмеивавшийся язык, которому надо вернуть его исчезнувшую яркость и реформировать, сочетая такое реформирование с возрождением и модернизацией чешской литературы. Прошлое величие независимых политических институтов, с которыми необходимо было возобновить связь, не-

смотря на очевидный разрыв настоящего с прошлым, несмотря на период упадка, «темного времени», отождествляемого с Контрреформацией. Позитивное переоткрытие роли и места Яна Гуса, начатое «будителями» К. Ройко и Й. Добровским. Определение XVI в. золотым веком чешской культуры — периода процветания книгопечатания на чешском языке и культурных институтов в городах (в то время преимущественно не католических). Проблема разрушения чешских не католических книг между 1620 и 1781 гг. Наконец, создание в качестве главной отличительной черты нации фигуры эрудита как матрицы для самоопределения. Таким образом, между 1800 и 1848 гг., настоящее все еще остается католическим, доступ к высшим кругам в науке и обществе проходит по-прежнему через немецкий язык, но прошлое — уже становится гуситским и чешским, включая государственную службу, литературу и проявления духа.

3. Материалы национального возрождения и их националистское использование

Перейдем к существенным мотивам «национального рассказа» и попытаемся схематично указать некоторые уловки, которые трансформируют элементы реальности в мифогенетические материалы идентичности:

а) просвещение, звено между поколениями, возвращение преемственности в нации.

В масштабе монархии борьба с неграмотностью в Богемии и Моравии весьма прогрессирует в соответствии с мерами Марии-Терезы и Иосифа II, делая посещение учебных заведений обязательным. При этом факт, возможно еще более важный, — то, что Богемия становится в 1774 г. тем «маяком», откуда распространяется (например, в Галицию) модель школы для учителей. Конечно, инициатор этого Кендерманн является (или ощущает себя) немцем, родившимся в Богемии, и его работы — на немецком, так же, как и все высшее образование, которое еще долго

строится на рудиментах. И все-таки существенно здесь то, что связано с нашей темой, — динамика просвещения. Эти два обстоятельства позволяют лучше понять начальный этап использования в конструировании идентичности темы образования как отличительной черты чехов. С тех пор школьное обучение на чешском языке приобретает масштабы главной, одновременно политической и идентификационной, цели: поскольку считается, что «нация», созданная на ином, чем ее собственный, языке, подвергается реальной опасности «денационализироваться». Подобное сочетание «языкового» требования, обычного для всех

национальных групп, которые находятся под угнетением или в меньшинстве, с реальностью высокой посещаемости учебных заведений — присуще «чешской нации». Это требование артикулируется в другой постоянной теме из арсенала идентичности, тесно связанной с опытом чехов XVII—XVIII вв., с потерей (конфискацией или разрушением) архивов гуситов и протестантов в период форсированной Контрреформации, которая рассматривается теперь как попытка умертвить настоящую нацию. Отсюда и эффективность лозунга, повторенного позже: «У нас только два оружия: книга и школа». Культура в том смысле, который ему придает чешское слово *vzdelanost*, близкое к немецкому *Bildung* с оттенком, отсылающим нас к опыту и к работе над ним самим, и не на работе над самим, а не в смысле латинского *kultura*, может указывать, таким образом, место перехода многообразной совокупности к нации, той, что идет от немецкого к чешскому в поисках прерванной в XVII в. преемственности, той, которая также идет от настоящего к познанию прошлого как гаранта современного национального сознания;

б) этнизация «нации» вовлекает требование исторического государства и своих территорий.

Не имеет большого значения, что «политическая нация» в прошлом не делала никакого отличия между семьями иностранного и автохтонного этнического происхождения, допущенными в страну *incolat* или по буржуазному праву. Поскольку провидение еще до 1620 г. позаботилось о том, чтобы записать на уровне основных законов королевства первенство чешского языка, исключаящее любой другой язык в государстве до Новой конституции, предоставленной Фердинандом II в 1627 г. (и в 1628 г. в Моравии), то эта «политическая нация» может быть уподоблена путем скольжения смыслов и их повторной интерпретации современной нации носителей чешского языка по рождению или по выбору. Подобная операция смещения смысла посредством смешения политико-юридических и этнико-национальных понятий не редка: она имела место практически во всех европейских нациях. Таким же образом, например, Карл, король франков, воцарившись в Римской империи, смог стать «немецким» императором Священной Римской империи³. Существенно здесь то, что чешские регионы, со средневековых времен характеризующиеся сосуществованием чехов и немцев, символически станут в XIX в. соперничать за легитимное наследование исторической государственности. После этой интерпретации, последовавшей за событиями 1848 г., сильное немецкое меньшинство Богемии (главным образом), а также Моравии, не могло уже составлять часть нации, — не более того, чем чехи не могли являться частью новой «немецкой нации». Для обе-

их групп единственной альтернативой стала отныне ассимиляция, или национальные бои. В политическом контексте монархии указы от октября 1860 г. и февраля 1861 г. ставили «чешскую нацию» в неблагоприятные условия: немцы, составляющие 1/3 населения чешских регионов, считают себя 2/3. В империи официально не существует и «чешского вопроса». И для обеих групп действительно не остается иных альтернатив, кроме как ассимиляция, или национальная борьба.

И «чешская нация», демографически мажоритарная и сознающая себя саму, и ее немецкие соотечественники, интегрировавшиеся, в свою очередь, в немецкую нацию, которая выходит за пределы государственных границ, выдвигают отныне свои претензии на наследие богемской короны. У чехов, таким образом, складывается видение своих «исторических» территорий как земли чехов, а не немцев, причем по причине двойного приоритета — расселения и цивилизации. Такой тезис немецкие историки Богемии готовились оспаривать;

в) от приоритета к исключительности.

Напряженность между наукой и мифом постоянна и универсальна в процессе идентификационной работы. Как и история, археология тоже вступает в дебаты, преследующие

злостные политические и националистические цели. С теориями о славянском этногенезе чехов и о немецкой колонизации XIII в. должны были столкнуться идеи этногенеза германских народов Богемии и Моравии, которые вели происхождение от квадов и маркоманов, населявших эти земли еще до славян. С тех пор как Г. Добнер в 1761—1786 гг. «просеял» в сите филологической критики хронику Гаека, объединившего и реинтерпретировавшего в XVI в. хроники и предшествующие традиции, в XIX в. чехи уже осознавали, что традиционные истории их истоков, например рассказ о патриархе Чехе, отце Крока, брате Леха (предполагаемого предка поляков) и его дочери Либуше, жены Пшемысла, — являются легендами. Тем не менее это разоблачение не помешало тому, что фигура Либуши, представленная рядом с реальными правителями Богемии в подложных рукописях, которые обнаружил библиотекарь Национального музея В. Ганка в 1817—1818 гг. (Краледворская и Зеленогорская), становится дополнительным поводом легитимации. Что же касается самих фальшивых манускриптов, подлинность которых уже Й. Добровский поставил под сомнение, то их появление оправдывает претензии «нации» не на историческое существование, которое и так достаточно доказано историей, а на статус держателя автономной цивилизации — специфически чешской и славянской в прошлом. Как написал об этом в своих «Воспоминаниях и раз-

мышлениях старого патриота» публицист Якоб Малы в 1870 г., появлялся «не подозревавшийся до сих пор образ чисто славянской культуры нашей старины», перед которой «никакое чешское сердце не оставалось бесчувственным», так как «нация, представленная в этих бесценных памятниках нашей литературы, достойна самого бесконечного уважения»;

г) нация без аристократов.

Политическое использование идентификационных тем — область по крайней мере такая же существенная, как и соотношение «мифической» и «научной» историй. После 1861 г. центральным моментом, вокруг которого разворачиваются идентификационные дискуссии в политике, становятся права чешской нации. Эти права оспаривались: аристократия не идентифицировала себя ни с идеалом «возвращения чешскости» общественной и культурной жизни, ни с просвещением народных масс. Нужно было наконец определить, кого включать в нацию.

Й. Юнгманн в 1806 г., а некоторые и раньше, уже исключил дворянство из-за его пассивности и равнодушия к языку королевства, к бедам национального сообщества: такое решение имело главным образом символический эффект, оно касалось лишь ограниченной среды активных «патриотов» (*vlastenci*) и все равно не создавало единогласия в исторических и юридико-политических интерпретациях. Многозначность слова «нация» сосуществовала в двойственности. Следующий анекдот передает смысл этой двойственности: «Но мы — уже нация!», — отвечает великий бургграф Ф. А. Коловрат в 1818 г. Й. Юнгманну и двум другим представителям движения национального «пробуждения», пришедшим просить у него поддержки для создания музея, предназначенного для национального возрождения. «Да, мы снова нация... — комментирует назавтра редактор “*Prazske noviny*”, — и эти слова раздаются в каждом уголке нашей дорогой Родины — Чехии!»

Между тем идея о том, что теперь нация развивается лингвистически и культурно, без участия дворянства, приобретает широкое звучание в кругах, чувствительных к «национализации». Начиная с 1848 г. национальная почва политизируется и лидеры чешского движения участвуют в качестве депутатов в парламентах. Конституции 1848 и 1849 гг. провозглашают всеобщее равенство независимо от статуса: аристократы и неаристократы становятся равными в правах. Именно тогда аристократия Богемии и Моравии, за некоторыми исключениями, окончательно дистанцируется от чешского национального движения. Само же движение разделяется по вопросу о знати: Гавличек после провала революции развивает в своих статьях концепцию, согласно которой нация не должна больше полагаться на свою аристократию.

Палацки и Ригер, лидеры партии старочехов и главные авторы теории «государственного права», ищут пути альянса или диалога с аристократией Богемии. Провал законов 1871 г., выработанных с целью способствовать эволюции в этом направлении путем признания прав

богемского королевства, подобно автономной Венгрии, показал невозможность интеграции всех слоев общества в одном и том же политическом «национальном проекте».

Вопрос о нации усложнен в XIX в. символически центральной проблемой преемственности/разрыва в государстве. В габсбургской монархии каждая страна, имеющая особенности конституции и статуса, сохраняла теоретически всю или частичную юридико-политическую специфичность, по крайней мере до 1848 г. Между тем правители-суверены публиковали, начиная с Прагматической санкции Карла VI, акты, связывающие различные «исторические» области, которыми они управляли. Подобная двойственность довольно рано стала источником различных конфликтующих между собой интерпретаций гражданского права в монархии и в каждой отдельной ее области, не говоря уже обо всей империи. Она подпитывала нескончаемые дискуссии. Таким образом, споры между «историческим правом» и «государственным правом» стали центральным элементом политики национальных лидеров во всех областях, обладающих институционными особенностями, и прежде всего, в старых королевствах Богемии, Венгрии, Хорватии. Австро-Венгерский союз был крупным успехом мадьярской нации, объединенной вокруг «тысячелетней конституции», подтверждавшей их «исторические права». В противоположность этому реорганизация монархии 1867 г. ничего не дала «чешской нации» в глазах ее лидеров, ожидавших, что она вернет свое место, если бы конституционные реформы действительно имели целью установление федерализма или равенства между этническими группами.

Именно в этом контексте младочехи пришли к разрыву со старочехами, именно в вопросах об аристократии и политики в защиту государственного права. Выдвигая отныне на первый план права народа — так сказать вопрос об экономической и социальной справедливости, — они становятся лидерами «нации», социологически составленной только из народных слоев. Истинные, новые, аристократы этой нации — те, что сейчас должны были перенять прошлые заслуги старой знати Австрии, превратились для них в народ. В программном тексте, появившемся в журнале «Глас» в 1863 г., К. Сладковски, который вместе с братьями Юлиусом и Эдуардом Грегр был историческим вождем младочехов, объясняет то, что вскоре станет национальным сюжетом: только исключая дворянство «увеличится, благосостояние нашей

чешской родины, появится надежда видеть превращение сельского мелкопоместного дворянства (*zemanstvo*) в слой крестьян-собственников, который является ядром нашей нации, который заменит для нас аристократов, потерянных нами на Белой Горе, а также тех из них, кто остался. Старые аристократы не поняли своих собственных интересов и оказались чуждыми своей нации. Таким же образом вместо нынешней нетвердой по отношению к своей нации буржуазии образуется ее новая буржуазия. Так и только так храм чешской национальности приобретет столь крепкое основание, что никакие бури будущего не смогут разрушить его»⁴;

д) Белая Гора.

Исторические романы, фельетоны, национальная пресса, бесчисленные брошюры, начиная с этого времени и особенно после 1867 г., генерализируют и определяют образ битвы на Белой Горе как могилу нации, как символ ее как жертвы. У возможных истоков этого мотива стоит Й. Юнгман, который сделал его отправной точкой лингвистического и литературного упадка в своей «Истории чешской литературы» (первое издание — 1825 г.). Более чем когда-либо, начиная с последней трети XIX в., Белая Гора представляется как сущностный разрыв истории и национального развития. Политическое участие молодых слоев чешского населения, популярность в нем партии младочешских вольнодумцев, социал-демократов и аграриев играли большую роль в этой интерпретации, поддержанной, если не начатой, младочешской партией. Якуб Арбес, журналист «*Narodni listy*», редакция которых была младочешской, выражает ее так: «То, что терпела наша нация после Белой Горы, никакой другой не пришлось пережить..., гуситская чаша была вырвана из ее рук и заменена на горе и страдания, которые она переживает два века... цвет дворянства погиб, и самые благородные сыновья нации тысячами погибали под мечом палача или изгонялись... Судьба чешской нации оказалась тесно связанной с судьбой австрийской империи. Тот, кто знаком с историей, предшествующей XIX в., представляет ее как арену беспорядка и государственной противоречивости, как пример, которому не должно следовать ни одно государство...» Поражение Богемии, Моравии и их австрийских и венгерских союзников кристаллизуется, таким образом, в главном символе национального мифа,

интегрируя в основополагающем событии «национальной трагедии» многочисленные черты, важные и в воображении нации, и в текущем политическом опыте: онемечивание, лишение государственности, чешско-немецкий антагонизм.

Такая интерпретация имела долговременное влияние на концепцию истории и идентичности чехов. Она функционирует как структурирующая ли-

ния в дискуссиях историков, которые начиная с 1880-х гг. и по сегодняшний день, исключая некоторых профессионалов, отказавшихся от нее, принимают ту или иную сторону, даже в доказательствах ее историчности. Она была подвергнута сомнению в конце XIX в. университетскими историками. Тем не менее Ярослав Голл, основатель чешской позитивистской школы, отодвигал это событие и его следствия в область неартикулируемого. Самый радикальный из историков, Йозеф Пекарж, изобличитель национальных мифов и пионер в области экономической, социальной и культурной истории XVII—XVIII вв., расценивает эту интерпретацию как «большое несчастье», заключая так свою полемическую книгу, вышедшую в 1910 г. и посвященную битве на Белой Горе.

Но, говоря о реакции профессиональных историков, мы вступаем в иное измерение, связанное с «тканью» национального воображения: самокритики, противоречивости национальной идентичности, спорах о законности или злоупотреблениях историей и памятью. Речь идет о необходимости уточнения границ между мифом и реальным историческим опытом или даже, для специалистов в истории, исторической правды. Этот аспект составляет центральную линию в чешской традиции идентификации. Он приходит в упадок в двух различных областях, зачастую смешанных на практике: в «науке» и в «морали» индивидуальной и гражданской ответственности. Добровский является архетипом «научной» критики, Гавличек представителем морализаторского реализма...

Перевод с французского О. М. Шутовой

1 Данная статья в своей первой редакции публиковалась: M.E. DUCREUX, «Toisamozj Czechyw pomiedzy katolicyzmem a protestantyzmem», in: Historia Europy ńrodkowo-Wschodniej, red. Jerzy KLOCZOWSKI, Lublin, Instytut Europy ńrodkowo-Wschodniej, 2000. T. 2. P. 187—203.

2 Fernand BRAUDEL, L'identite de la France, Paris, 1ere edition, Arthaud-Flammarion 1986. T. 1; Espace et histoire. T. 2; Les hommes et les choses. vol. 1; Le nombre et les fluctuations longues. vol. 2; Une economie paysanne jusqu'au XXe siecle; Friedrich HEER, Der Kampf um die osterreichische Identitat, Wien, Hermann Bohlaus Nachf., Wien-Koln-Graz, 1981.

3 Se rapporter a la discussion sur l'Empire Romain Germanique dans Friedrich HEER, op. cit. P. 24—28.

4 Extrait de: Milan ZNOJ, Jan HAVRANEK, Martin SEKERA (ed.), Cesky liberalismus. Texty a osobnosti, Prague, Torst, 1995. P. 172—173.